

ГЕННАДИЙ ПАДЕРИН



## РЯДОВОЙ МАТРЕНА

РАССКАЗ

1

В начале зимы сорок первого мы остановились на пути к фронту в Ярославле. Мы — это сформированная в Новосибирске лыжная бригада. В Ярославле нас вооружили автоматами, снабдили маскировочными костюмами и сказали:

— Действовать предстоит в тылу врага, основная тактика — ночные вылазки, поэтому вам дается две недели на отработку ходьбы на лыжах в темное время суток.

Я был назначен отделенным. И в первом же походе споткнулся о поведение одного из подчиненных — молодого солдата Матвея Егорушкина. Впрочем, пожилых в отделении и не числилось, предельный возраст едва подступал к двадцати трем.

Зима есть зима, темнело рано, так что вскоре после ужина я объявил сбор и повел своих за город, где загодя выбрал подходящий участок на бере-

---

*ПАДЕРИН Геннадий Никитич родился в Забайкалье в 1921 году. Великая Отечественная застала его на третьем курсе Новосибирского института военных инженеров транспорта, откуда он в составе лыжной бригады осенью 1941 года ушел добровольцем на фронт. Осенью 1942-го в боях за город Сталинград командир пулеметного взвода Геннадий Падерин получил тяжелое ранение и затем долгое время провел на госпитальной койке. После войны окончил МГУ, факультет журналистики. Автор многих книг: “Шахматы из слоновой кости”, “С общим мнением не согласен...”, “В зоне неизведанных глубин”, “Русский шрам” и других. Особое место в творчестве Геннадия Падерина занимает документальная проза, посвященная людям науки. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.*

гу Волги. Берег тут высоко и круто вздымался над покрытой льдом рекой, представлялась возможность потренировать ребят на трудном спуске.

Прибыли на место. Показывая пример, ухнул вниз сам, потом махнул рукой солдатам. Один за другим парни начали стремительно скатываться на лед по готовой лыжне.

Двое не удержались на ногах — взбурлили на склоне снег. Большинство же съехало благополучно.

Наверху остался последний. Ночь выдалась безлунная, но небо над крутояром высветилось, фигура солдата с лыжными палками в руках очерчивалась довольно отчетливо. Он поднимал то одну, то вторую лыжи, переставлял палки, подтягивал рукавицы, поправлял шапку, а мы топтались на льду и, закинув головы, наперебой подстегивали:

— Ну же, давай!..

— Смелее, Егорушкин!

— Будь мужчиной!

Увы, это не прибавило парню мужества. Оставалось употребить власть:

— Считаю до трех, — крикнул я, обдирая морозным воздухом горло. — Раз, два...

Силуэт человека на крутояре переломился надвое, превратившись в бесформенный ком, и этот ком пополз, пополз вниз по склону. Стало понятно: солдат просто-напросто уселся на лыжи, как на санки.

Кто-то засмеялся, кто-то крикнул: “Аля-улю”, а Костя Сизых, наш минометчик, сам не удержавшийся на ногах до конца спуска, встретил Егорушкина жалостливым восклицанием:

— Эх, куча, а еще воевать собрался!

— Я ведь где вырос-то? — принялся возбужденно оправдываться тот. — Степь у нас, оврагов добрых — нету, а тут — этакий обрывище! Да и лыжно не видать толком.

— А мы спортсмены все сплошные? — продолжал наседать Костя. — Горнолыжники?

Тощий, нескладный, он действительно не производил впечатления закаленного спортсмена.

— Чего привязался? — огрызнулся Егорушкин и посмотрел на меня, рассчитывая, видимо, что возьму под защиту. — Как умею, так и езжу!

Я молчал: пусть ребята надраят этого рохлю, на будущее пригодится.

— А в бой? — не отскакивал Костя. — Как же в бой пойдешь?

— Там как в омут, все одно — смерть!

Ответ ошеломил всех, наступило растерянное молчание. Тогда я сказал:

— Выходит, Егорушкин, вся задача твоя на фронте — умереть? А кто фашиста бить станет?

Он потупился, обессиленно повиснув всем телом на лыжных палках.

— Зря тебя Матвеем нарекли, — обозлился Костя, — Матвей — имя мужское, а ты просто Мотя, что в переводе на русский — Матрена...

С той ночи и увязалось за парнем — Матрена да Матрена. Случалось, и я, командир, спрашивал, забывшись: “А почему это Матрены не видно в строю? Или в наряде сегодня?..”

Из Ярославля бригаду перебазировали на Карельский участок фронта. До Беломорска мы доехали на поезде, а потом встали на лыжи и совершили стокилометровый бросок в глубину карельской тайги, за линию фронта.

Но это сказать просто — бросок, а когда сто километров шагами меряешь, пусть даже лыжными, получается не бросок — средневековая пытка. Не в костюмчике же спортивном, не в ботиночках: валенки на тебе, штаны ватные, телогрейка, полушубок, а на загорбке — пудовый вещмешок. Именно пудовый, хотя в нем как будто лишь самое-самое: запасной автоматный диск, пяток гранат-лимонок, трехдневный запас сухарей и консервов, банка сухого спирта для подогрева оных консервов, фляжка спирта для собственного подогрева, санитарный пакет, смена нательного белья, портянки, шерстяные носки и, как водится, туалетные принадлежности.

Ниже поясню, почему понадобилось столь подробно перечислять содержимое вещмешка, пока же дорасскажу про экипировку. Остается немного:

маскировочный костюм из белой ткани, автомат на шее да брезентовая сумка с противоголозом на поясе. Правда, там же еще финка в ножнах, но веса в ней — граммы и движений она не стесняет.

Значит, совершаем этот самый бросок — шагаем на лыжах через заснеженную тайгу. Около семидесяти километров уже отшагали, вот-вот оставим позади линию фронта. В голове длиннющей цепочки навьюченных лыжников — разведчики, которые заранее проложили маршрут, нашли для нас скрытый проход. По их данным, частей противника здесь нет.

И вдруг — выстрелы: автоматные очереди впереди и с флангов.

— Ложись!..

Полежали, пришли в себя, начали соображать, как отбить неожиданное нападение.

...Бой получился короткий, но жаркий. Жаркий не только в переносном, но и прямом смысле слова. Особенно для нашей роты: нам выпало преследовать остатки вражеской засады. И мы, измотанные многокилометровым переходом, решили облегчить себе задачу хотя бы тем, что посбрасывали полшубки. Дескать, потом вернемся.

А только с возвращением не вышло: преследование увело далеко в чужой тыл, и ротный решил, что целесообразнее сразу двинуться в заранее оговоренный пункт сбора бригады, нежели тащиться обратно. Просто сил у людей не осталось. Да и кто мог поручиться, что возле полшубков не ждет новая засада?..

Когда стали устраиваться на дневку, обнаружилось: все лишились полшубков, а наш Матрена, помимо этого, еще и вещевого мешка. Оказалось, рассовал по карманам патроны и гранаты, а остальное бросил вместе с полшубком.

— Тяжел больно мешок-то, — бормотал незадачливый солдат, — вот и оставил...

Первый бой прошел, в общем, нормально. В том смысле, что не посеял паники, нас к такому готовили. Однако Матрена все же растерялся изрядно: стараясь быть полезным, суетился под пулями, стрелял, тратя попусту патроны. Но выговаривать неопытному солдату я не стал. Другое дело — промашка с вещевым мешком: такая расхлябанность заслуживала взбучки, пришлось поставить на вид.

Матрена и сам был удручен, стоял как вареный. А тут еще Костя Сизых прицепился:

— Нет, вы посмотрите на этого красавчика: патрончики распулял в небо — это ладно, хоть не в своих, так он еще додумался жратву бросить! Тяжело, видишь!

Костю можно было понять, ему досталось больше других: тащил, кроме всего, на лямке волокушу с минометом и боезапасом мин.

И, тем не менее, когда разогрели на спирту консервы, именно Костя предложил:

— Айда, Матрена, перекуси, а то силы потеряешь — мне дороже: придется везти тебя на волокуше.

## 2

Задачи, поставленные перед бригадой в чужом тылу, были такие: разведать состав частей на данном участке, определить, какая сосредоточена здесь техника и какими резервами располагает противник, нарушить по возможности его коммуникации, а когда придет час наступления наших войск, подержать ударом изнутри.

В соответствии с этими задачами и строилась наша жизнь за линией фронта. Мы часто меняли базы, а там, где задерживались подольше, почти не рыли землянок. В смерзшемся грунте это трудно. Обходились шалашами. Разгребали между деревьями снег и ставили шалашаши. Из еловых веток. И пол в шалашах тоже застилали ветками. Кроме самого центра, где оставляли место под костры.

Чтобы не выдать себя дымом (вражеские самолеты-разведчики появлялись над лесом по несколько раз в день), позволяли себе радость погреться у костров только в ночные часы.

Да и не костры это были — костерки, робкие, бескрылые; угнездившись вокруг них по шесть человек, кто на коленях, кто “по-турецки”, тотчас погружались в зыбкое забытие.

Конечно, нам не удавалось поспать в обычном понимании этого слова: сторожко дремали, протянув к огню руки. Через руки шло тепло, растекалось по телу. Беда лишь, что стоило дреме углубиться, контроль над руками ослабевал, они медленно, но верно опускались в костер.

Чтобы предупредить ожоги, в каждом шалаше выделялся дежурный. Пятеро дремали, а шестой поддерживал огонь и следил за руками товарищей — не позволял опускаться ниже безопасного уровня, легонько ударяя палкой.

Через руки шло тепло — а может, просто казалось? Только до спины, увы, не доходило. Время от времени приходилось вскакивать, разминаться, подсаживаться к огню спиной.

Надо ли говорить, с каким сожалением вспоминали мы этими зыбкими ночами про наши полушубки. Еще хорошо, зима в Карелии выдалась в том году сравнительно мягкая, оставляла надежду, что удастся перебежать в телогрейках.

Правда, у телогреек и ватных штанов выявилось одно коварное свойство, с которым довелось познакомиться едва ли не всем. Кому меньше, кому больше. Дело в том, что эта одежда боялась близости костра — точнее, искр от него. Упавшая на штаны или телогрейку искра начинала без промедления выедать вату. Тихо и незаметно. Без пламени и почти без дыма. Спохватиться, бывало, когда уже припекать станет, глянешь — выгорел такой кусок, что и не залатать. Поэтому на ночных дежурных лежала еще и обязанность стеречь от дальнобойных искр нашу спецуру.

Бивачная жизнь в шалашах, у костров не располагала, понятное дело, к особой аккуратности, к строгому соблюдению правил личной гигиены. Все же солдаты исхитрялись, растопив в котелках снег, каждое утро умыться, а время от времени и поскоблить бороды.

Как-то раз устроили аврал — перестирали нательное белье, портянки и даже успевшие загрязниться маскировочные куртки и брюки. Продолбили лед на озере и в прорубях перестирали.

Короче, мы не превратились в лесных отшельников, армия оставалась армией.

Мое отделение на общем фоне выглядело бы ничего себе, нормально, не будь в числе бойцов Матрены. Он казался совершенно не приспособленным к такому быту. Ходил — вся ватная экипировка в подпалинах. На груди, на коленях, на спине. Мотня штанов, свисавшая почему-то едва не до колен, — и та наполовину выгорела. И винить, главное, никого не приходилось: пострадал во время собственного дежурства.

Да и вообще вид у него, прямо сказать, никак не вязался с представлением о солдате, о войне. Телогрейка на груди и ворот гимнастерки были постоянно распахнуты — поотрывались пуговицы; на грязной шее невольной привлекала к себе внимание полоска подворотничка, не менявшегося, надо думать, с самого Ярославля; сморкался Матрена при посредстве перепачканных сажей пальцев, глянешь на захватанный нос — от смеха с трудом удержишься.

Что особенно раздражало в его облике лично меня — юношеские усики, которые свисали по углам рта. Этакие свалывшиеся сосульки. Они и ребят выводили из себя. Костя Сизых пригрозил даже, что если Матрена не побреется, рискует как-нибудь проснуться опаленным.

Все мои попытки воздействовать на пентюха разбивались о непонятное безразличие. Однажды состоялся с ним такой разговор:

— Боец Егорушкин, не мог бы я попросить вас умыться?

Не уловив иронии, он принялся истово растолковывать:

— Так мыло же в вещмешке осталось...

— Тогда, может быть, договоримся хотя бы насчет подворотничка? Впечатление такое, что давно пора пришить свежий.

— Так нитки с иглой в вещмешке остались...

— И бритва, само собой, тоже там осталась? Но разве нельзя бритву, мыло, иголку одолжить у товарищей?

— Так кто же даст!

— А вы пробовали просить?

— Н-нет, но...

— Попробовать за вас?

— Не надо, сам...

Я не выдержал:

— Ну, смотри, Егорушкин, не возьмешься за себя, устроим с ребятами баню — долго икать будешь! Хватит мне получать выговоры от начальства!

Их и впрямь не сосчитать было — нахлобучек от взводного: почему, видите ли, не занимаюсь воспитанием бойца?

Только забот и без Матрены хватало. Поначалу-то какой там из меня командир был! Никак не мог всего предусмотреть и за всем проследить даже в таком маленьком хозяйстве, как отделение. Да и приказывать не сразу научился, чаще не приказывал — просил, благо большинство ребят попались толковые, настоящие сотоварищи.

Последняя моя угроза вроде бы подействовала на Матрену, стал понемногу подтягиваться. Однако спохватился я, как оказалась, с опозданием, расхлябанность солдата-неряхи вскоре обернулась бедой для всего отделения. Больше того, едва не стоила нам жизни.

Военные операции бригада начала сразу после того, как мы обосновались во вражеском тылу, что ни день — пять-шесть групп отправлялись на задание. Матрена в этих вылазках не участвовал. Просто в полном составе нас не посылали, командирам давалась возможность отбирать людей по своему усмотрению. Не требовалось особых усилий найти предлог — оставить ненадежного солдата на базе.

Мне казалось, это его не угнетало, но душа была беспокойна. Грызла меня совесть. И в очередной раз, когда нарядили в разведку, я решил:

— Отделению в полном составе быть готовым к походу с облегченной выкладкой! Выступаем через час.

Матрена и ухом не повел. Привык — не берут.

— А вам что, Егорушкин, особое распоряжение требуется?

Он подхватил болтающиеся полы телогрейки, принялся торопливо заправлять под ремень.

— Значит, это... и я тоже?

Непонятно было: только удивлен или еще и обрадован?

— Выступаем через час, — повторил я, делая вид, будто не замечаю его растерянности.

Он кинулся собираться.

Через час солдаты выстроились на тропинке, протоптанной в снегу перед шалашами. В маскировочных костюмах, с лыжами в руках, с автоматами на шее.

Матрена по росту шел у нас пятым. Обычно, построив отделение, я очередно оглядывал каждого из бойцов, начиная с правофлангового. Сегодня взгляд невольно потянулся сразу к пятому.

С первых дней лесной жизни установилось как-то само собой золотое правило: вернулся из похода — сними и приberi маскировочный костюм, а там уже подсаживайся к костру или занимайся хозяйственными делами. Матрена этим правилом пренебрегал, обращаясь с костюмом не лучше, чем с телогрейкой. И от коллективной стирки увильнул. Сейчас, оказавшись в строю, вдруг предстал моим глазам этакой грязно-пестрой курицей, затесавшейся в семейство лебедей.

Первым побуждением было — удалить из строя, оставить на базе, приказав немедленно заняться стиркой. Наверное, так и следовало поступить, но подумалось: шаг этот будет похож на преднамеренную демонстрацию и, чего доброго, окончательно оттолкнет солдата от меня и ребят.

Я с усилием отвел взгляд, произнес привычное:

— Отделение, слушай мою команду...

Перед взводом, в составе которого нам предстояло идти, командование поставило задачу разведать, какими силами располагает противник в деревне за Кривым озером.

Кривое озеро — это наше название, для себя окрестили, когда знакомились с местностью в районе действий бригады. На карте оно шло без имени, как и три других, что располагались на пути к нему. Правда, те были не столь крупными. Подобных безымянных озер в Карелии — со счета собьешься.

Во время ночных вылазок мы обычно озер не обходили, двигались по льду напрямик, зато днем на открытую местность старались без особой нужды не высовываться, прокладывая маршрут по лесу. Сегодня старшина роты, заменивший прихворнувшего командира взвода, обогнул берегом два первых озера, а на третьем решил сэкономить километраж, поберечь наши силы: слишком большой требовался крюк.

Прежде чем вывести людей на лед, старшина устроил в кустах, подступивших к берегу, привал. И распорядился:

— Без моего разрешения из кустов никому не выходить!

Снял лыжи, поднял на гребень сугроба, наметенного со стороны озера вдоль линии кустов, и, оперев на лыжи локти, пристроился перед сугробом с биноклем — принялся изучать противоположный берег. Лица его сбоку не было видно, из-за белого кашпошна высовывались кончики усов, которые то ползли кверху, то опускались, повторяя беззвучные движения губ.

Эти усы послужили поводом для прозвища, которое дали старшине в первый день знакомства: Дяденька из книжки. Знакомство состоялось в Ярославле. Здесь в нашу сибирскую бригаду влились остатки дивизии, отведенной с фронта для реформирования. Старшина был из ее состава. По возрасту он годился всем нам в отцы, однако это не удержало Костю Сизых от глупой шутки:

— Дяденька, вы из какой книжки?

Старшина отозвался с готовностью:

— Из тоненькой, с крупным шрифтом и картинками — такую вполне осилишь.

Отступать было поздно. Костя поспешил объяснить:

— Во всех военных книжках старшины обязательно при усах.

— Моему старшинскому званию, милоч, три месяца счету, а усам — два десятка лет. У нас на Украине каждый второй при усах.

— А чего ж вы по-своему не гугорите?

— А русским на Украине разве заказано жить?

Мы сразу прониклись к нему уважением, тем не менее “Дяденька из книжки” за ним осталось.

Сейчас я следил за движением усов, ждал, когда от бессловесной беседы с самим собой старшина перейдет к разговору с нами. Наконец он опустил бинокль.

— Рискнем!

Договорились так: сначала на лед выходит первое отделение во главе со старшиной, идет примерно до середины озера, и если все будет нормально, вывожу своих людей я; следом с таким же интервалом двинется третье отделение.

В таком порядке и отправились. Первое отделение без происшествий пересекло озеро и скрылось в прибрежном лесу, мы спокойно достигли середины, третье отделение выкатилось позади нас на лед.

Я иду в своем отделении замыкающим. Поглядываю по сторонам, время от времени покрикиваю для порядка:

— Не растягиваться!

Все спокойно, все хорошо.

Внезапно слуха достигает далекий свист. Он доносится из леса, где скрылось первое отделение.

Всматриваюсь — вижу старшину: показавшись на опушке, тот вздевает на лыжную палку ушанку, размахивает ею, что есть силы. Все это по-прежнему сопровождается пронзительным свистом.

До сознания доходит: “Воздух!”

И точно: позади, над лесом, идут на бредущем два вражеских штурмовика. Идут вдоль берега, оставшегося за спиной.

Заметили нас или нет?

— Ложись! Лыжи, палки — в снег! Не двигаться!

Ребята за считанные секунды выполняют команду. Все, как надо. Если до этой минуты наша группа не успела привлечь внимание вражеских летчиков, теперь им нас не углядеть.

Но что это за пятно, грязное, почти черное пятно, резко, невообразимо резко прущее в глаза на первозданном карельском снегу?

— Кто там ррядом с Матрреной?! — рычу. — Закидать снегом!

Поздно: один из штурмовиков уже меняет курс — ложится на левое крыло, закладывает крутой вираж. Красиво так, можно сказать, изящно закладывает вираж — разворачивается к нам бульдожьим рылом.

Разворачивается, готовясь пикировать.

И вот уже безудержно несется, широко расставив лапы-лыжи, с гигантской горы — с холодно-серого пологого неба.

Сейчас ударит из пулемета, иссечет очередью.

Ударил!

Рев мотора заглушает выстрелы, но штурмовик бьет трассирующими, и я вижу, как в полусотне метров от нас пули выныривают из снега, скрипя глубоко под ним о ледяной панцирь озера. Выныривают строчкой огненных язычков.

Смертоносные язычки неотвратно и стремительно приближаются к нам.

Тут что-то непонятное начинает вытворять Костя Сизых.

Вскочив, сдергивает перчатки, принимается неистово размахивать — вроде как приветствует пикирующего “бульдога”.

Ловлю все это боковым зрением, не в силах оторваться от огненной строчки.

Не сразу осознаю: язычков больше нет, строчка оборвалась на “полуслове”!

“Бульдог” с оглушающим рыком пронесется над нами, едва не задев лапами Костю, набирает высоту.

Неужто уйдет? Неужто оправдала себя Костина хитрость, и враг обманулся — принял нас за своих?

Впрочем, на маскировочных костюмах не обозначено же, что мы бойцы Советской Армии, а наши красноезвездные шапки закрыты капюшонами.

Но почему тогда сразу не пришла ему мысль, что это свои, почему решил атаковать? Или, зная о существовании у себя в тылу нашей бригады, задался целью проверить, попутав пулеметом? Возможно, потому и открыл огонь с таким упреждением — за добрых полста метров?..

Вихревая круговерть пронесится в голове за те секунды, пока самолет выходит из пике.

Вышел! Как раз над той опушкой, откуда просигналил старшина. Вышел, но чего ждать от него дальше? Повернет обратно, сделает повторный заход или нет?

Вскакиваю, сдергиваю, подобно Косте, перчатки, начинаю с тем же неистовством махать вслед “бульдогу”. И кричу ребятам:

— Давай все!.. Ну же!..

Повернет или не повернет?

Нет, набрав над лесом высоту, штурмовик устремляется, покачав крыльями, вдогонку за напарником. Выходит, сработала-таки Костина смекалка!

...Старшина встретил нас у кромки леса, оглядел мельком, молча и нетерпеливо махнул рукой: давайте в глубину! Сам остался на опушке, напряженно вглядываясь в противоположный берег озера. Я оглянулся тоже: третье отделение, вернувшись с полпути, втягивалось в лес. Значит, решили пойти берегом, в обход. И правильно: никто не может гарантировать, что самолеты не вернуться.

Теперь, когда опасность окончательно миновала, я обрел способность видеть окружающее. Бросилось в глаза, что Иван Авксентьевич — так звали

старшину — стоит с непокрытой головой: кашпошон откинут, шапка в руке. Видно, с той минуты, как сигналил нам.

— Простудитесь, товарищ старшина, — кивнул я на шапку.

Он поглядел на нее, оцупал свободной рукой голову, словно сомневаясь, что держит в руках собственную шапку.

— Простуда — что, тут сердце зашло.

Я его хорошо понимал: в случае гибели отделения, такой вот бессмысленной, старшина не простил бы себе, что повел людей в дневное время по открытой местности.

Ребята углубились в лес, где расположилась прибывшая раньше нас группа, снимали лыжи, полезли в карманы за куревом. Началось, как всегда бывает в подобных случаях, взволнованное обсуждение только что случившегося.

Матрена в общем разговоре участия не принимал — сел в сторонке, под пихтой, угрузив в снег, надвинул на глаза шапку. Его не трогали, понимая, каково в эти минуты должно быть у человека на душе.

К нам подошел старшина, достал серебряный портсигар. В нем белел стянутый резинкой слой длинноствольных папирос. Не каких-нибудь самонабивных, а настоящих, фабричных.

Парни усталились, как если бы перед ними выступал иллюзионист. Уставились с невольным ожиданием, хотя старшина явно не собирался угощать все наше воинство: нашел глазами Костю Сизых, протянул с торжественным видом портсигар.

— Спасибо за находчивость, солдат!

Костя смутился, но от угощения не отказался.

— По правде сказать, забыл уже, какой у них вкус, — вздохнул, прикуривая.

— Вот и вспомни, — вздохнул ответно старшина. — Заслужил.

Убрал портсигар, вынул кисет с махоркой. Для себя и всех желающих.

— Налетай!

Никто, однако, не потянулся: этого-то добра у самих хватало.

— А чего ж, товарищ старшина, — подал голос Антон Крутлов, санинструктор, — чего Матрену папиросой обошли? Он ведь тоже в этой истории как бы именинник!

Баталии Антона за соблюдение элементарных требований гигиены давно стали темой анекдотов во всей роте. Особенно часто случались на этой почве стычки с Матреной, причем старшина, вполне понятно, обычно принимал сторону санинструктора. Похоже, из этого расчета Антон и додумался подлить масла в огонь.

— Не понял, — отозвался Иван Авксентьевич. — Юмора не понял.

Поманил Антона пальцем, наклонился к уху.

— Не по-нашенски это, — услышал я гневный шепот, — не по-нашенски — лежачих бить!

### 3

Лесная деревушка за Кривым озером интересовала командование бригады как один из возможных опорных пунктов противника. К нашей радости, мы там никого не встретили.

Не обнаружилось и жителей, которые, видимо, эвакуировались в самом начале войны.

Чтобы дать людям отдых, старшина принял решение остаться здесь на ночь. Для этого надлежало проверить, нет ли мин. Проверка велась методом прочесывания — нельзя было оставить в стороне ни одного закутка.

Деревня состояла из добротных бревенчатых изб — каждая в два этажа. Причем на верхних этажах располагались жилые помещения, а низ отводился для птиц и скота.

Мин не нашли, зато в стайке под избою, где я наметил разместить отделение, наткнулся на запрятанную в сено связку книг. Часть оказалась на



русском языке (в основном по лесоводству), среди них увидел старого знакомого — Толковый словарь Даля. Один том этого словаря. Раскрыл наугад, принялся вслух читать:

— “Лампа — сосуд разнаго вида и устройства для освещения жилья маслом, ворванью, жидким салом...”

— Найдем лампу, — раздался за спиной знакомый, с прокуренной хрипотцой голос Ивана Авксентьевича.

Я глянул на корешок — там значились буквы “И — О”, отыскал страницу с именем старшины, начал читать дурашливым голосом:

— “Иван — самое обиходное у нас имя...”

— Не надо, не скоморошничай, — взял у меня из рук книгу старшина. — А лампу найдем и, как устроимся на ночевку, почитаем про наши русские слова. Власть почитаем, а то на фронте совсем от нормальной речи отвыкли...

Наверное, надо, подобно нам, покуковать зимою в шалашах, вдосталь намерзнуться и вдосталь намучиться полудремой у костров, когда сидишь в шапке, ватнике, не снимая валенок, сидишь, скукожившись, на коленях, с протянутыми к огню руками, беспрестанно просыпаясь от того, что дежурный бьет ним палкой, бьет, само собой, жалеючи, но все же так, чтобы разбудить, — наверное, надо пожить какое-то время такой жизнью, чтобы понять, с каким наслаждением мы в этот раз намылись в бане, а потом расположились в жарко натопленной избе, кто на полатах, кто на лавках, и слушали рассуждения Кости Сизых:

— Нет, это надо же: спали дома на матрацах, под одеялами, с подушками под головами и даже не догадывались, что самое-то большое счастье поспать вот так, на голых досках...

В сгустившихся сумерках не разглядеть было его лица, но я отчетливо “слышал” улыбку — ироничную и грустную одновременно. И невольно улыбался сам. И остальные, наверное, тоже улыбались и думали при этом: много по-новому заставит оценить нас эта война, многому научит наше поколение. Впрочем, уже научила...

Пришел старшина, скомандовал:

— Занавесить окна телогрейками! И чтоб ни щелочки нигде!

И добавил тоном Дяденьки из книжки — добродушным и счастливым:

— Лампу раздобыл и керосин нашел.

Следом за старшиной к нам потянулись солдаты из других отделений. Оказалось, Иван Авксентьевич успел рассказать о моей находке.

Собрался практически весь взвод, исключая часовых. Хорошо еще, выбранная нами для ночлега изба не имела перегородок — одна большая горница, гости разместились более или менее терпимо.

Меня усадили за стол в центре, выкрутили в лампе повыше фитиль.

— Начинай, как давеча, с “Ивана”, — подсказал старшина и объявил с улыбкой: — Тут про мое имя почти что целый столбец.

— “Иван — самое обиходное у нас имя... переименованное из Иоанна (коих в году 62), по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, Урала и до Амура, означает русского...”

— От Дуная, Кубани, Урала и до Амура, — подхватил Иван Авксентьевич, прерывая меня, — на этаких тысячах верст — и везде мои тезки! А какой-то несчастный фриц собрался нас задавить.

Разволновался, схватился за кисет, но остановил себя: “Уговор дороже денег!”

Дело в том, что по его же собственному предложению договорились во время чтения не курить...

Я двинулся дальше. Знакомые живые слова чередовались с устаревшими, давно вышедшими из употребления, звучащими для нас странно, порою смешно. Однако никто ни разу не засмеялся.

— “Изба (истопка, истока, иста, изба), избенка, избеночка, избушка, —щечка, —шенка, —шеночка, изопка, избочка, избишка, избина, избища — крестьянский дом, хата...”

Не знаю почему, я волновался и, чтобы скрыть волнение, читал внача-

ле как бы с усмешкой. Но, случайно подняв от книги глаза, увидел, как меня слушают: сосредоточенно, чуть запечалившись. И перестал паясничать.

— “Избавлять — избавить кого, чего или от чего; спасать, освобождать; отклонять беду, неприятность; выручать, подавать помощь заступничеством...”

— Как он каждое слово чувствовал! — вновь не удержался старшина.

— До самого что ни на есть нутра добирался, — подхватил Костя Пахомов, помощник командира взвода. — ИЗБАВЛЯТЬ — это же про нас, про нашу сегодняшнюю задачу: спасти, освободить свою землю от фашистов, подавать матерям, сестрам помощь заступничеством!

— Вот я и говорю, — обрадовался старшина, — об этом и говорю...

Ему, я видел, чертовски хотелось покурить, он буквально изжамкал в ладонях кисет, а все тянул с перекурором: жаль было прерваться.

Я решил помочь ему:

— Не пора посты менять?

Старшина бросил взгляд на часы, кивнул согласно.

— Не хочется сегодня в приказном порядке этого делать...

Умолк, ожидая, кто изъявит желание пойти в подмену. В комнате воцарилась тишина. Какие-то мгновения она была просто тишиной, затем превратилась в тишину неприятную, потом — в тягостную.

Добровольцев не обнаружилось. Зря, видно, такое затеял старшина: легко ли принудить себя покинуть теплую избу, уйти от Даля! Когда бы приказ — все просто, а так: “Почему я, а не сосед?”

Другой разговор, позови старшина под пули — там сработало бы сознание долга, а тут, хотя и совестно перед товарищами, которые ждут подмен, но никто не сомневается, что товарищи поворчат да и простят.

— Можно, я пойду?

Матрена?..

Старшина не успел ответить: солдата хлестнула в спину подначка Анто-на Круглова:

— Всё, братцы. Родина спасена: Матрена двинул подавать помощь заступничеством!

На парня низринулся хохот всего взвода, согнул плечи, заставил втянуть голову.

Из-за хохота почти не слышен был звук оплеухи, настигшей Анто-на. Влепил ее Костя Сизых. И встал рядом с Матреной.

— Товарищ старшина, разрешите на пару с ним!

Старшина снова не успел ответить: взвился Круглов.

— Ах, так? — кинулся на Костю.

Теперь старшина уже не позволил выйти событиям из-под контроля:

— Круглов! — рявкнул.

Санструктор притормозил, но не успокоился:

— Он же меня ударил! — растерянно топтался, оглядывая только что хохотавших бойцов. — Все видели? Сизых меня ударил!

Никто, однако, не поспешил записаться в свидетели, а старшина распорядился, уже позабыв о Круглове:

— Первый пост меняют Егорушкин и Сизых! На второй приготовиться Путинцеву и Коржеву!

Шагнул к двери, скомандовал, раскрывая кисет с махрой:

— Перекур!

#### 4

Наша речь на фронте поневоле приобрела иной характер, чем это было дома. Причем мы совершенно не замечали случившейся перемены. Даль же как бы вернул нас в мирное время, от зажелтевших страниц повеяло уютот семейных вечеров, полузабытым теплом шершавых материнских ладоней.

Прочсть успели всего ничего — 53 страницы. 53 из 799. И когда наутро приготовились покинуть отогревшую нас деревушку, я невольно заколебался: не взять ли книгу с собой? Однако вещмешок у меня был набит под

завязку, а если бы и удалось ее втиснуть, следовало приготовиться к необходимости таскать на плечах лишнюю пару килограммов.

Стою возле стола, перебрасывая на руке громоздкий том, раздумываю, как поступить.

— Может, возьмем с собой?

Оборачиваюсь: Матрена.

— А хозяину оставить расписку: дескать, позаимствовали книгу во временное пользование. Для ознакомления.

И начинает распускать шнурок на горловине своего полупустого вещмешка, который старшина выдал ему взамен утраченного.

— Я бы мог... Место есть... Не думайте, под голову класть не буду, не помну.

Так Владимир Иванович Даль стал нашим постоянным спутником. И собеседником: в свободные часы теперь устраивались громкие читки словаря.

Прочитанное, как правило, тут же обсуждали. Причем весьма заинтересованно. Естественно, применяя к себе, к своим познаниям, пониманию жизни. Даль помог ощутить всю необъятность духовного богатства народа. И спокойную его мудрость.

На отдельных словах задерживались: не совпадали мнения. Спорили порой до хрипоты. Втягивались все ребята, лишь Матрена не принимал участия. Каждый раз молча доставал из вещмешка книгу, передавал мне, пристраивался где-нибудь за спинами остальных и помалкивал.

Расшевелился лишь однажды — на слове “муж”.

“МУЖ — человек рода ОН, в полных годах, возмужалый...”

Без малого полторы тысячи слов потребовалось Далю на “человека рода ОН”, на толкование понятий, с ним родственных. Но наше внимание задержалось на данном словарном гнезде не по этой причине и не из кичливого осознания своей принадлежности к “роду ОН”, нас привлекло... “состояние мужа, мужчины, мужеского рода или пола вообще”, именуемое мужеством.

“Состояние возмужалости, зрелого мужеского возраста. Стойкость в беде, борьбе, духовная крепость, доблесть; храбрость, отвага, спокойная смелость в бою и в опасностях...”

Искру высек всегдашний заводила Костя Сизых.

— Мужество — дар божий, — изрек тоном завязтого лектора. — Все равно как талант. Музыкальный там или какой еще. Мужественным надо родиться.

— Себя, конечно, причисляешь к числу талантливых? — сел ему на хвост Костя Пахомов.

“Лектор” горестно вздохнул:

— Нет, я от природы человек робкий, а если иногда кидаюсь в пекло, так единственно — стыдно: тебя стыжусь, старшины, Матрены... Не хочу, чтобы все знали, что боюсь.

Подключился старшина:

— Вот и опроверг себя, собственным примером опроверг: мужественными не рождаются, а делаются. Главное — воля.

— И хотенье, — добавил Костя Пахомов, — захотеть еще надо. Не захочешь — никакой стыд не поможет.

— И еще, наверное, — неожиданно для всех подал голос Матрена, — еще, наверное, страх перед жизнью...

Довод был непонятный, но все молчали. Молчали, мне кажется, по той же причине, что и я: боялись спугнуть. Ждали, когда парень сам разъяснит свою мысль.

— Страшно жить будет, если, скажем, срейфишь и сбережешь жизнь за счет жизней товарищей. Домой вернешься — а кто ты? Вроде как своровал...

— Очень правильно, — поддержал старшина. — Страх перед будущей жизнью с вечным ощущением, что ты трус, — это очень важная добавка к воле.

“Лектор”, впрочем, зачислил Матрену в свои союзники:

— Вот кто прав, так это Матрена. И опять он говорит не о мужестве, а о стыде...

Спор продолжался, однако уже не задевал моего внимания: я размышлял о том, как изменился за последнее время Матрена. Начать с того, что заштопал паленные дыры на ватной одежде. Хотя и неумело, но сразу было видно — старательно. Без понуканий довел до белизны маскировочные куртку и брюки. Взял за правило менять подворотнички.

И вообще выглядел подтянутым, собранным.

Только “сосульки” категорически не пожелал сбривать. Впрочем, теперь они как-то перестали бросаться в глаза.

Мне подумалось, что напрасно, видимо, продолжаю обходить его, когда формируются отряды разведки или группы для засад на коммуникациях врага. Бездействие — штука коварная.

Но вернусь к Далю. Пришел день, когда было оглашено последнее в том слово — “ОЯЛЮВЕТЬ”. Собрались в тот раз на базе, в просторной землянке, незадолго перед тем выкопанной и приспособленной старшиной под каптерку.

Сидели на каких-то тюках, на патронных ящиках. В металлической пещурке потрескивали дрова. Обстановка, что называется, настраивающая на лирический лад.

И под этот настрой я читаю:

— “Конец второго тома”.

Повисает недоверчивая тишина. Недоверчивая и обиженная.

— Конец? — спрашивает Костя Сизых и вытягивает шею, чтобы взглянуть на последнюю страницу.

Подтверждает влух:

— Точно: “Конец второго тома”.

— А сколько их всего? — спрашивает у меня старшина.

— Четыре.

— Вот бы остальные достать!

— Да, хорошее было чтение, — вздыхает Костя Сизых. — Хотя начинать весь словарь во второй раз... А может, на стихи перейдем? Каждый по очереди почитает, что в памяти есть.

— Вот и начни, — предлагает старшина.

Костя не стал ломаться:

*Двадцать дней и двадцать ночей  
Он жить продолжал, удивляя врачей.  
Но рядом дежурила старая мать,  
И смерть не могла его доломать.  
А на двадцать первые сутки  
Мать задремала на полминутки,  
И чтобы не разбудить ее,  
Он сердце остановил свое...*

Костя умолк, и тогда прозвучал незнакомый, сдавленный голос:

— А у меня мать... вместе с домом фашист сжег.

Все обернулись: то был старшина. Опустив голову, сторбившись, он вышел из землянки.

Костя Сизых проводил взглядом, сказал виновато:

— Разве ж я знал...

— Никто не знал, — перебил Костя Пахомов. — И не узнали бы, не прочитай ты своих стихов.

— Да не мои они!

— И плохо, если не твои!

— Что я — поэт?

— Не поэт, так стань им!

Костя Пахомов умел и любил убеждать, требовательно повторил:

— Стань им! А то кому про нашу теперешнюю жизнь написать? Про того же старшину, например?

Костя Сизых смущенно хохотнул — было видно, слова тезки ему польстили, — толкнул локтем сидевшего рядом Матрену:

— А вот Матрену попросим!

Для нас это прозвучало шуткой.

— Про старшину? — переспросил Матрена.

Его слова покрыл хохот. Матрена не обиделся — переждал смех, пообещал:

— Я попробую.

Он выполнил обещание. Только произошло это при трагических обстоятельствах. Война есть война, и редкая операция в чужом тылу обходилась без того, чтобы не побило наших людей. Везучие отделялись “царапинами”, бывали и тяжелые ранения. А кого-то настигала смерть.

С этим не то что свыклись — принимали как неизбежное.

После очередной вылазки привезли раненого старшину: Иван Авксентьевич подорвался на mine. Финские саперы настолько хитро ставили на подходах к своим позициям противопехотные мины, что мало кому удавалось их обнаружить.

Старшину ударило в ноги и в живот, он потерял много крови и, когда повезли на волокуше, начал замерзать. Солдаты вспомнили о химических грелках. У каждого из нас имелось по паре прорезиненных пакетов с особым порошком — плеснешь две-три ложки воды, начнет разогреваться. И держит тепло часа три. Ребята собрали пакеты, обложили раненого.

Но с волокушей по глубокому снегу не разгонишься. Особенно в лесу. То бурелом, то подлесок — вприору прорубаться, а встретится овраг — ищи пологий склон...

Теплового ресурса в грелках не хватало, Ивана Авксентьевича привезли в лагерь на исходе жизни. Пытались растереть спиртом — не помогло. Умер, не приходя в сознание.

Впервые подвел нас — не одолел смерти — наш старшина.

Можно сказать, отец. Дяденька из книжки.

Его похоронили на берегу озера, в скале. Выворотили с помощью тола двухметровую глыбу и в образовавшейся нише замуровали. На могилу положили солдатский котелок — на алюминиевом боку Матрена выцарапал:

*Мы все равно фашиста разобьем,  
Победою закончится война.  
И горько, что за праздничным столом  
Не будет с нами вас, товарищ старшина!  
Но не забудем мы, садясь за этот стол,  
Всех тех, кто до Победы не дошел.*

## 5

С Большой Землей нас связывали самолеты и радио. По радио получали напутствия, по воздуху — сухари, консервы, боеприпасы. Все это летчики сбрасывали на лед ближнего к нам озера.

А тут зарядил снегопад, да с ветром — “воздушные извозчики” прекратили полеты.

Какое-то время мы держались, до предела урезав суточный рацион. Буря все не утихал. Пришел день, когда в рот класть стало нечего. Совсем. Оставалось лишь пережевывать воспоминания.

Отряд снабжения раздобыл где-то лошадь. Солдаты на месте разделили ее, порубили на куски и на волокушах привезли в лагерь.

И — в котлы. Варить. Одно худо — посолить нечем.

Ладно, сварили так. Сварили, раздали бульон. Без мяса.

Наконец отогрели животы. Каждый проглотил свою порцию мгновенно. С голодухи эту баланду можно было даже назвать вкусной.

— Пища богов! — оценил Костя Сизых.

На что Костя Пахомов резонно заметил:

— Не-е, конина в их рационе не значилась, они, я читал, на яблоки нажимали.

Антон Круглов выдал рифму:

— Хотя бульон “И-о-го-го”, а все же лучше, чем ничего!

Облизал ложку, скосил глаза на Костю Пахомова:

— А мясо — что, для комсостава берегут?

— Дурак! — отреагировал тот.

— Он просто малограмотный, — вступился Костя Сизых, — не знает, что мясо на голодный желудок вредно.

И — Антону:

— Потерпи до завтра, получишь и мясо.

Новый день, однако, не принес перемен, ждатель, что летчики прорвутся, не приходилось. Снова залили вчерашнюю вареную конину водой и — на огонь.

На этот раз выхлебали варево молчком. Про мясо не вспоминали.

Дальше пошло, как в сказке: день варили, два варили... И все ждали, когда восстановится воздушный мост: в тот же час съедим мясо!

На четвертый день бульон стал напоминать по вкусу дистиллированную воду. А самолеты все не шли.

Мы сильно ослабели. С трудом несли караульную службу. Особенно на контрольной лыжне.

Контролька была проложена в радиусе полукилометра вокруг всего нашего расположения, по ней днем и ночью курсировал патруль — проверял, не пересек ли где ее чужой лыжный след. Сами мы покидали лагерь и возвращались в него, пересекая кольцевую лыжню в строго определенных местах — там выставлялись сторожевые посты.

События, о которых пойдет ниже речь, начались как раз на контролке.

Патрулировать в тот день выпало мне в паре с Матреной. В последнее время Матрена обычно ходил с Костей Сизых — они подружились после памятной стычки с Антоном Кругловым, однако сейчас Костя сильно сдал, его лихорадило, подташнивало, он с трудом передвигался даже в пределах лагеря.

На лыжню вышли после обеда. По времени — после обеда, а не потому, что нам выпало перед патрулированием пообедать. Буран поутих, стало подмораживать.

Появилась надежда, что вскоре установится летная погода.

Казалось, осознание этого приятного факта должно бы прибавить сил, да только голова все равно кружилась, в глазах рябило.

Я шел впереди и скоро почувствовал, как начинает прилипать к спине натертая рубаха: натеренный предыдущими патрулями след успело так перемести, что мои лыжи то и дело зарывались в сугробы.

Впрочем, пробивался сквозь них совершенно машинально, все мое заостренное внимание было приковано к снежным зальсынам между деревьями и кустами с внешней стороны контролки: не мелькнет ли где чужая отметина? Но снег повсюду оставался нетронутым, даже мышинные строчки и птичьи вензеля отсутствовали.

Переговариваться во время патрулирования не полагалось, и, шагая, я время от времени молча оглядывался на сопевшего позади солдата: не уснул ли? Опасение станет понятным, если учесть, что большую часть жизни нынешней зимой мы проводили на лыжах. Оказалось, человек настолько привыкает к ним, что может спать на ходу.

С нами такое нередко случалось во время дальних ночных переходов. Скользишь по проторенной лыжне вплотную за товарищем, привычно двигая ногами и столь же привычно переставляя палки, скользишь и чувствуешь, как неодолимой тяжестью наваливается дрема. И ничего с ней не можешь поделать. Одергиваешь себя, строишься над собой — ан уже видишь сон.

А сам, между тем, продолжаешь двигаться. Только шаг невольно начинает замедляться, пока не остановишься совсем. Тогда идущий следом толкнет лыжной палкой в спину, очнешься, ругнешь его для порядка и поспешишь вдогонку за своими.

Однако Матрена сегодня не давал повода беспокоиться, что уснет, и когда я в очередной раз оглянулся на него, он истолковал это по-своему:

— Может, поменяемся? — предложил, решив, как видно, что мне больше не по силам торить лыжню.

Что же, можно и поменяться, пусть поработает.

Сойдя на обочину, пропустил его вперед и приготовился вернуться на контрольку, но когда потянул из снега лыжи, с пятки левого валенка соскользнул крепежный ремень. Видно, не был как следует застегнут.

Пришлось нагнуться, чтобы поправить, а как только нагнулся, в висках застучало, перед глазами поплыли круги. С трудом удержал равновесие.

Выпрямился, подождал, пока успокоится хоровод в глазах, нашел раскачивающийся силуэт спутника — тот успел укатить уже довольно далеко. Окликать не полагалось, надеялся, что Матрена сам через какое-то время догадается оглянуться.

Наклоняться вновь не рискнул — нашел иной выход: опустил на правое колено и, не наклоняясь, дотянулся пальцами до левой пятки. И в этот миг услышал гулкий, со звоном, удар по пустому бочонку. Резкая красная боль хлынула в глаза, откатилась к затылку, скользнула вниз по спине. Падая, успел сообразить: ударили не по бочонку — по моей голове.

...Долго ли продолжалось забытье, не знаю, как не знаю и того, что заставило очнуться. Возможно, холод, добравшийся сквозь ватную одежду до моего неподвижного тела.

Неподвижного в том смысле, что сам я никаких мышечных усилий для своего передвижения не предпринимал, пребывая в чертовски неудобном положении на чьем-то загорбке. В виде живого вьюка, притороченного спиной к чужой спине.

Руки у меня были заведены назад и стянуты веревкой, к ногам привязана вершинка ели, волочившейся за нами по снегу, грудь охватывал ремень, пропущенный под мышки, — на нем и удерживалось тело. Остается добавить, что во рту торчал тряпичный ком, до предела растянувший онемевшие челюсти.

В голове звенело, тупо болел затылок.

С усилием разжевил веки. Все вокруг казалось серым — то ли из-за моего состояния, то ли вечер близился.

Человек, который нес меня, шумно, со свистом дышал, громко отхаркивался. Он шагал на лыжах по пухлому целику, следы сразу затушевывала привязанная к моим ногам елка. Вместо лыжни позади оставалась взъерошенная ложбинка.

Попытался восстановить события.

В общем-то, не требовалось особой проницательности, чтобы понять: меня захватили в качестве “языка”. Захватили, как глупого телка, как овечку какую-нибудь, как цыпленка, только что вылупившегося из яйца, как... Нет, такой неосмотрительности, идиотизма такого я от себя не ожидал!

Значит, что же: мы шли с Матреной по контролке. Я впереди, он следом. На всем пути не обозначилось ничего настораживающего. Ни прямо по ходу, ни справа от кольцевой лыжни.

Ни прямо, ни справа... А что за спиной происходило? Помню, несколько раз оглядывался на спутника, только дальше его вялой физиономии взор не простирался.

Потом я пропустил Матрену вперед...

Пропустил — и тут...

К нам подобрался, ясное дело, со спины. Наверное, какое-то время выслеживали, а потом сделали рывок, мгновенно и бесшумно управились со мной, а Матрена, ничего не подозревая, пошагал дальше по контролке.

Худо, ай, как худо!..

По-видимому, в порыве отчаяния я сделал какое-то движение телом: мой “носильщик” неожиданно подтолкнул меня локтем в спину, произнес вопросительно:

— О-э?

Я помолчал. Он позвал хрипло:

— Викстрем!..

И добавил несколько слов по-фински. Спереди донесся молодой праздничный голос:

— Э, рус, ты жийвьой?

Значит, их двое. “Носильщик”, видать, в годах, а тот, похоже, юнец. Пооди, на первое дело пошел. Радуетея, сволочь.

Само собой, Матрена после спохватился. И, возможно, кинулся догонять. Вполне возможно. Даже наверняка кинулся. Только не забуранило ли, пока спохватился, след? И поймет ли, что взьерошенная ложбинка в снегу и есть тот самый след?

Впрочем, если все это и дошло до него — толку от Матрены: ногами с голодухи еле двигает. А потом, догони он, разве с этими двумя управиться!

Ах, дьявол, как получилось!..

Финн подо мною слегка присел, я почувствовал, как напряжилось его тело, и мы с ним покатались в заросший кустами овраг со сглаженными склонами. На дне снег насугробился, “носильщик” заметно угруз.

— Викстрем, — позвал, высмаркиваясь и слезывая.

Тот вернулся, пристроился рядом, подхватил снизу, под коленями, мои ноги, и вдвоем финны потащили меня вверх по склону. Старший устало крихтел и что-то раздраженно бормотал по-своему, самодовольный Викстрем посмеивался. Пооди, зримо представлял уже, гад, как явится с добычей в свой штаб, порадует начальство.

...Выстрелы хлестнули на выходе из оврага. “Носильщик” сразу повалился на склон, выставив меня под пули, как связанного барана. Викстрем метнулся в сторону, ловко упал на спину, перекинул над собой лыжи и тут же, оказавшись на ногах, ринулся за толстый ствол ближней ели. Но чуть припоздал: я увидел, как окрасился кровью его правый рукав.

“Наши!” — сжал я зубами кляп, едва не потеряв от радости сознание.

Стрельба ненадолго прекратилась, потом вновь ударила автоматная очередь. Пули обрубили соседние несколько веток над головой Викстрема. Припав на колено, он левою рукою стаскивал с шеи автомат.

Я извернулся, прочесал взглядом заснеженные кусты — никого. Дальше стеной поднимались ели — там тоже ничто не выдавало присутствия людей. Где же они?

Молодой финн открыл ответную стрельбу — верно, просто наугад.

Сделав несколько выстрелов, переметнулся к соседней ели, дал оттуда короткую очередь, опять перебежал, стараясь, как я понял, отвести угрозу от напарника. При этом что-то выкрикивал на своем языке, по два-три слова между выстрелами.

Финн подо мною не отвечал, только медленно ворочался в снегу, будто уминая, утрамбовывая его.

И вдруг, опершись на палки, резко вскочил, перекинул лыжи носками вниз, рванулся вместе со мною обратно в овраг.

Теперь я оказался лицом к месту схватки. Несмотря на уплотнившиеся сумерки, поймал взглядом наверху, между стволами елей, контуры лыжника с автоматом. А может, это показалось мне?

Выстрелов больше не было.

Молодой финн тоже не стрелял, выжидая.

Мой “носильщик” спустился на дно оврага, свернул с проторенной лыжни и побрел, уминая снег, в сторону от того направления, по которому двигался перед тем.

Я уловил ситуацию: финны распределили роли. Викстрем остался, чтобы задержать нападающих, а этот бугаина, обойдя засаду, поволочит меня дальше. Скоро стемнеет, и Викстрему не составит труда ускользнуть из оврага и догнать напарника.

Судя по всему, засаду устроила группа, идущая с задания, — наши парни наткнулись, верно, на чужую лыжню, определили, в каком направлении проследовали финны, сколько их, и решили дожидаться возвращения. Разгадают теперь они маневр, предпринятый лазутчиками?

Мой финн тяжело пробивался сквозь слежавшийся на дне толстый слой снега, тяжело, медленно, не давая себе ни малейшей передышки. Не чело-



век — машина. Мы уходили все дальше, я перестал различать вмятину, оставшуюся после нас в снегу там, на склоне, где застали выстрелы.

Викстрем затаился, я потерял его из виду.

На гребне оврага также не улавливалось никакого движения. Неужели наши не разгадали маневра? Или просто не заметили?

Если бы только удалось вытолкнуть кляп! Эти сволочи замуровали мне рот моей же рукавицей — стоило скосить глаза, и я видел знакомую окантовку. Рукавица намертво заклинила челюсти, как ни пытался двигать, как ни напрягался — все впустую.

Меня охватили беспомощное отчаяние и злость. Злость прибавила сил, я вдруг остервенело взбрыкнул ногами и саданул под колени финну. Извернулся — и саданул!

Ноги у него подкосились, мы рухнули с ним в снег. Он матерно выругался по-русски, приподнялся и ответно двинул меня снизу в бедро. Я понял — ножом: горячая волна прокатилось по коже. Странно лишь, что не почувствовал боли.

Ногами я ничего больше сделать не мог — стукнул головой.

Поднял повыше голову и — затылком в затылок. Но шапки, его и моя, смягчили удар.

Финн не успел отреагировать: ухнула граната. Там, позади, где остался Викстрем.

Финн вскочил, будто вовсе и не громоздилась на спине тяжелая ноша.

— О-э, Викстрем!

— Цо-цо-цо! — раздалось в ответ. И следом — торжествующий смех. Смех победителя. Во мне все сникло: гранату метнули не наши — Викстрем метнул. — Цо-цо-цо!

— О-э, — отозвался мой финн, добавил что-то на своем языке и тоже рассмеялся.

Развернул лыжи, двинулся в обратный путь. Мной овладела апатия, я перестал воспринимать окружающее.

Очнулся, когда совсем неподалеку раздался приглушенный вскрик:

— А-а!

Я вздрогнул, подумав, что это Викстрем добивает раненых.

Финн встревоженно позвал:

— Викстрем!

Лес молчал.

Крикнул громче, с явной тревогой, однако напарник опять не отозвался. Он потянул с шеи автомат, засеменил лыжами, спеша укрыться за ближнее дерево. В эту минуту над головами у нас взлаяла автоматная очередь. Мы вздрогнули с ним одновременно, но пока я приходил в себя, финн успел выхватить нож и отсечь ремни, державшие меня на спине. Освободился от громоздкой ноши.

Я упал на бок, зарылся в снег лицом, однако тут же, оттолкнувшись кистями связанных рук, сумел сесть.

Сел, разлепил глаза. Финн, осторожно согнувшись, поднырнул под ветви ели и сразу выстрелил. Одиночным. Экономил, видать, патроны.

В ответ прострочила, сбивая хвою, короткая очередь. Странно, звук автомата оказался не наш — немецкий, бил “шмайсер”, какими были вооружены финны. Я не мог ослышаться.

Финн опять выстрелил и опять одиночным, после чего резко сорвался с места — переметнулся наискосок по склону под новую ель; постоял с минуту, сделал следующий бросок — тоже наискосок и вверх. Больше не стрелял. Молчал и его противник.

Вновь начался снегопад. Правда, без ветра. На гребне было еще достаточно светло, а здесь я уже с трудом различал человека, затаившегося под деревом в каких-нибудь двух десятках шагов.

Он еще рванулся в намеченном направлении — наискосок и вверх, перещелкал немного, сместился дальше. Противник все молчал. Финн осмелел и стремительно ринулся, прикрытый подлеском, к гребню оврага. Не знаю, выскочил ли: я потерял его из виду.

Сердце, сбиваясь с ритма, отсчитывало настороженные минуты. Установилось гнетущее безмолвие — такое, будто лес, напуганный стрельбою, застался и ждал, томительно ждал, что же будет дальше.

Новый выстрел заставил, казалось, вскочиться вместе со мною всю чащобу. Одиночный выстрел.

Ответа не последовало.

Я вслушивался в наступившую опять тишину с напряжением, какое невозможно описать привычными словами. Страшно мешала рукавица во рту, растянувшая челюсти. Казалось, от этого сузились слуховые ходы. И еще подумалось, что, наверное, стоя слышал бы лучше. Ценой невероятных усилий удалось переменить позу — подняться на колени. Но нет, все равно ничего не выловил из тишины.

Не могу сказать, сколько прошло времени, когда сквозь обступившие меня сумерки пробилось шуршание лыж. Звук был слабый, но обмануться я не мог: кто-то приближался, медленно и как бы неуверенно приближался ко мне.

Наконец обозначился силуэт лыжника. Напружинившись, я взгляделся — Викстрем?! Кровь прихлынула к вискам, наполнила голову звоном. Погребальным звоном! Я понял, сейчас провалюсь в беспмятство.

И провалился бы, не осозная вдруг, что финн бредет обреченно, понурившись, без оружия и даже без лыжных палок, бредет с заведенными за спину руками, как ходят... под конвоем. И точно: поравнявшись со мной, Викстрем остановился, а из-за его спины показался незнакомец в присутствии на глаза маскировочном кашпошоне. В руках у него сверкнул нож, он нагнулся, взрезал на мне веревки, и я смог выдернуть из рта рукавицу.

И тут разглядел измаранный сажеею нос и свалывшиеся, свисающие по углам рта “сосульки”. Такие милые, такие родные “сосульки”. Как все же хорошо, что Костя Сизых не удосужился их подпалить!

— Жив, командир? — прохрипел устало Матрена.

\* \* \*

Матрену насторожила тишина за спиной. Оглянулся — меня на контролке нет. Ничего сначала не понял, но все же решил вернуться.

И — вот она, чужая лыжня, приткнувшаяся к нашей. Четкая, едва-едва припорошенная.

Вгорячах пробежал по ней с километр, если не больше, пока не спохватился: следы от лыжных палок в одном направлении — к нам. Обратного, догадался запоздало, чужаки по своему следу не пошли.

Метнулся назад, стал искать второй след — увидел: кто-то по свежему снегу проволока в сторону от контролки елку. Нашим такие упражнения ни к чему, оставалось одно: чужаки заматали свою новую лыжню.

А ту, первую, специально оставили нетронутой. Для приманки.

Настигнув финнов, хотел открыть огонь поверх голов — остановить хотя бы, а там уж как получится. Потом собрал силы, сделал большой крюк, обогнал и устроил засаду на выходе из оврага.

Гранату, брошенную молодым финном, просмотрел. Она плюхнулась у самой ели, за которой укрылся. Осколком покорежило автомат. Заклинило. Не шли патроны из магазина. Отныне эта штука годилась разве что на роль дубины.

Финн подошел уверенный, надо думать, что граната сделала свое дело. Как удалось опрокинуть его, сам не знает. Верно, тот просто не ожидал нападения. Да и пуля же ему в руку угодила — тоже, поди, дало себя знать.

— А не боялся, — спросил я, — не боялся, что финн подойдет да пустит в тебя очередь?

— Боялся. А только что сделал бы?

— Почему же сам гранату не метнул?

— Мне “шмайсер” заполучить надо было, а граната могла повредить...

Я узнавал и не узнавал его: вроде все тот же и не тот. Был просто Матрена, теперь — боец. Воин.